

IV.

СТРАННОСТИ Мандельштама были с первых минут. Необычайный, замкнутый, рассеянный, осторожный. Из барака выйдет — озирается по сторонам. Пока были силы, ходил быстро и нервно, разговаривал сам с собой. Подходил к глухому забору, за которым слышалась китайская речь, то к другому краю зоны, единственному месту, с которого видна была улица — огорода, лачуги, видимо, приоткрылись горючки. Росли деревья поодиночке. В одном и том же месте по вечерам возникала гармонь. «Музык заполонил», как звали Мандельштама, подбегал к запрещенным зонам, стража отгоняла его. Возбуждение вдруг сменяется апатией, и он медленно, словно считая шаги, идет, руки за спину, запрокинув голову. «Большая спесь», как говорил Моисеенко.

Один бывал редко, на прогулке его всегда окружали. Если подходил кто-то из незнакомых, он замолкал и уходил.

— Он мог так глянуть!.. Неприятно даже.

Академик Крепс, учившийся в Тенишевском училище с братом Осипа Эмилевича, подошел к поэту знакомиться: «Здравствуйте, Осип Эмилевич!» Тот сидел на земле, был задумчив и никак не отреагировал. «Осип Эмилевич, я тоже тенишевец...» Мандельштам вскочил, забулькал, оба стали вспоминать общих знакомых. Но Крепс тут же совершил непоправимую ошибку, спросив поэта, что ему снится в вину. Разговор оборвался.

Мандельштам не любил разговоров о черных днях — кто был следователем, кто допрашивали, очные ставки и т. д. К соседям по нарам это относилось меньше. Он сам рассказывал Моисеенко о ленинградском однофамильце Мандельштаме, который проходил по делу об убийстве Кирова и был расстрелян. Следователи допытывались, не родственник ли. Рассказал, что после тюрьмы бросил курить. «А раньше я курил ха-арошие папиросы».

Как-то вечером, — рассказывает Моисеенко, — мы спросили у него, за что его посадили. Об этом в лагере не принято спрашивать, он ответил: «Ни за что». А потом, под настроение говорит: «Хотите, прочту?» И прочел стихи о Сталине. Но, по-моему, не целиком. Читал он тихо, но и так никто не слышал, весь барак гудел в разговоре. Я хотел куплет про тараканьи усы запомнить, но не смог. А переспросить стеснялся, он мог меня и сбавить. Он переспросов не любил, сразу вдруг и тон другой, и взгляд: «А зачем тебе?» Или резко отвечал: «Оставьте!» и отмахивал рукой. Но когда бодрость духа была, была и общительность. После этого стиха я уже к нему с доверием подошел. Дня через два-три. И коснулся несправедливой славы Сталина. Он уклонился от ответа, и я тогда прямо сказал о злодеяниях Сталина. Он потрепал меня по голове — легонько, по-отечески: «Знаете что? Я вам советую на эту тему не вести разговоры ни с кем». Улыбнулся и отошел. И мне стало так неудобно, я после этого даже стыдился его... Я не видел, чтобы он на людях читал о Сталине. Только дважды — на нарах. Его надо было увлечь на разговор. Когда он сытый — спокойный. Но это редко. Нас, соседей, не отвергал. Однажды что-то прочел мне. «Этот вы написали?» — «Нет, не я». Утром попросил повторить. Он улыбнулся: «Понравилось?» И прочел еще раз. За все время, до карантина, он читал стихи раз пять-шесть, на нарах. На прогулке? Наверное, тоже читал, я не знаю, там у него свое окружение. Там часто говорили об общих знакомых. Осип Эмилевич сказал, что где-то в нашем лагере находится Бруно Ясенский. Первым он никогда ни к кому не подходил и стихи не навязывал. Может быть, вступался... искал духовно близких... Но уж за хлеб не предлагал, это ложь. Наоборот, его надо было просить прощения. Он посматривал долго, задумываясь: «Да? Сейчас подумаю». Пушкина читал: «И скучно, и грустно, и некому руку подать». Лермонтов? Ну, может быть. Еще помню: «Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило». А это — Пушкин? Вот видите. Пророческое и утешительное. Он любил, когда просили: «Еще, еще». Останавливался, делал паузу. Руки под голову и, глядя в потолок, читал. Садился, снова читал. Час читал, полтора — с разговорами, с паузами. В тактизм кизил голозой. Иногда закрывал глаза. На людей не смотрел, уходил в себя. От него я узнал о Гумилеве, Ахматовой, их сыне — Лева, да? Читал Мережковского. Андрея Белого — вот кого он любил. Читал медленно, красиво. А свои стихи? Мы их не очень понимали, они сложные у него... Мало мы его тешили, у него не было интеллектуального источника возле нас. Даже Лях не знал его как поэта.

Писал ли он что-то?

— Да, писал. Иметь карандаши запрещалось, но у Осипа Эмилевича был маленький. И был плотный лист бумаги, сложенный во много раз, как блокнот.

Продолжение. Начало в № 121, 122, 123.

нотик. Он его медленно разворачивал, в руках вертел, смотрел, опять складывал, убирал в боковой карман пиджака. ...Что-то пишет, уберет, думает. Читает, отвернется, опять пишет. Он жил внутри себя.

Был он неуклюж, неряшлив, неопрятен. Идет — ворот не застегнут, носок опустился на ботинок. Поставит баланду — прольет на нижние нары, песок с его ботинок сыпался на нижних соседей. Шум, Гарбуз кричит матом: «Что там у вас опять?» Подбегал к Мандельштаму: «Опять ты?!» Однажды после крика Мандельштам решил, что с ним хотят расправиться, и собрался перейти в другой барак, к знакомым ленинградцам. Раз два после отбоя его вдруг не оказывалось в бараке. Появлялся около полуночи — в шапке, в пальто, лицо напряженное. Володя Лях спросил громко: «Ну, Осип Эмилевич, вы, наверное, в женской зоне были?» Весь барак оглянулся и расхохотался. А он, не меняясь в лице, ответил рассе-

зину очень крупное и славное место...»

Начальник контрразведки был неприятно удивлен:

— Кто же такое этот Волошин? Почему же он мне так пишет?

— Поэт... — ответили ему. — Он со всеми так разговаривает.

Мандельштам был снова отпущен и еще более утвердился в мысли, что «Поэзия — это власть».

Семь дней морем. Батуми. Здесь он снова был арестован — меньшевиками. И снова отпущен.

Трижды выкарабкавшийся из беды, вырвавшийся с юга, Мандельштам оказался в центре внимания. В Крыму он успел вставить золотые зубы, и это стало общей достопримечательностью. В писательских кругах пошла гулять эпиграмма:

Ужас друзей — Златозуб.

Поэт был слаб здоровьем и к сорока годам сильно изменился. Одевался дурно — в одежды с чужого плеча, потерял почти

Осип Эмилевич тоже письмо отправил. Писал, сидя, согнувшись на нарах. Что-то было подложено под листок. Что — не помню, книг не было, я не видел. Потом он тоже был очень удрученный, потерянный. 7 ноября сказал нам: «Сегодня дома я был бы в такой компании!» Фамилий не назвал, нет. Чуть позже вспомнил Ахматову, еще... Был такой поэт — Сельвинский? Вот, его он вспомнил. Ахматову-то вспоминал все время как близкую. Он очень любил жизнь. И держался. А после 7 ноября стал угасать. «Мне бы Илью Григорьевича разыскать. Если бы он знал, что я здесь, он бы меня отсюда вытащил». Володя Лось его успокаивал: «Ничего, разберутся, вы выйдете...» ...А о жене — нет, вслух не говорил никогда.

Мандельштам не знал, где теперь бездомная Наденька. Наверное, арестована. Он написал на адрес брата:

«Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВЯТЛ, 11-й барак.

столетие, что ко мне из Москвы приедут, и я буду публично вспоминать все это. А что напечатано-то? Хотя что-то мне прочтите.

Я не знаю, что выбрать — попроше, чтоб не разочаровать.

— О небо, небо, ты мне будешь снится!

Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,

И день сгорел, как белая страница:

Немного дыма и немного пепла!

Моисеенко сидит степенно, руки на коленях, как мастеровой.

— Ну, что ж, н.ч. что ж...

ЗВЕЗДНЫЕ, не без надежды, мерцающие вечера сменяли уничтожающе-зловонные утра. Наружная уборная представляла огромную яму на четыре барака, т. е. почти на полторы тысячи человек, поперек нее — деревянные доски в три ряда, свешивались открыто в затылок друг другу. Ранним утром, раз в три дня, приезжа-

ЛЕЖАЛИ вместе — тифозные больные и здоровые. Каждый день кого-то выносили — либо в маленькую больничку в зоне, либо в морг, что одно и то же, потому что из больнички никто не возвращался. Собственно говоря, это был, скорее санпункт — тепленная палатка на десятках мест. Деревянный пол, печка-буржуйка. Ни уюлов, ни лекарств, хозбригада за ширмой играла в карты или домино. Никто больных не лечил, их просто изолировали. Если голова двигается, сестра приносит еду. Рядом — морг, тоже палатка, только другая — ветер ее колыхает, деревянные доски набошаны — земля видна. Лагерная больница, ненамного больше, находилась в зоне уголовников и попасть в нее было невозможно.

Норонович предложил Мандельштаму:

— Может, вас на первый ярус перевести?

— Нет, спасибо, мне там хорошо.

Конечно, подняться с нижних нар можно и без помощи Ковалева, внизу и посидеть удобно. Но внизу — сквозняк, а наверху — потеплее, ноги под себя, снизу и сверху пальто, шапочку вязаную на голову и — на правый бок, лицом к Ковалеву. Наверху и светлее, и писать удобнее. Соседи хорошие, привычные — тебя спросят, ты спросишь. И обзор — все видно, кого уносят, а кто еще бродит, доживает.

Но главное, уносили то именно с нижних нар, на нижних — засвечивались, а на третьих — не видно.

Приходил наголо стриженный лечном с кучей термометров в нагрудном кармане.

— Больные есть?

— Есть, есть, сюда идите, — выдавали соседи сразу в трех-четырех местах.

Больные не признавались, что больны, некоторые плакали, просили не забирать, совестили соседей: «Ты меня на смерть отправляешь...» Из других углов одергивали: «Что же ты, сука, сдаться? Завтра тебя заложат». Лечом каждый раз делал вид, что забирает в лагерную больницу, но все знали, что четверо таких же стриженных бытовиков в серых халатах уносят практически в морг.

Каждый думал о себе, и всякий раз лечому выдавали новые жертвы.

Ни одного дня ни один нары не пустовали. Тут же приводили новенького, и он занимал освободившееся место. После покойника нары не дезинфицировали, даже не обтирали.

Мандельштаму продлил жизнь не только третий ярус, но и соседи. Ковалев все ходил за едой, пытался говорить. Осип Эмилевич лежал молча, изредка поворачивал к нему голову: жив, слышу, слышу.

Во время первого ареста, в тюрьме Мандельштам перерезал себе вену лезвием «Жилетт», которое сумел пронести в подмышку. В Чердыне, уже полу-безумный, выбросился из окна больницы. Здесь, в лагере, он продлил себе жизнь. На сколько? Можете быть, на неделю.

После 20 декабря он не вставал, лежал, руки на груди. Поскольку лежал он недалеко от входа, всех умирающих проносили мимо него.

Норонович спрашивал:

— Врача вызвать?

Мандельштам отвечал едва слышно:

— Нет. Ни в коем случае.

Было странно, что он еще жил, казалось, душа его уже давно на небе, а тело необъяснимо задержалось на земле. Соседи по нарам увидели вдруг главное качество этого человека. Моисеенко говорит тихо и скорбно, словно все происходило вчера.

— Такой он был хилый и беспомощный, и вдруг такой духовно сильный, тихое мужество. За все время он ни разу не пожаловался. Ни разу! А ведь при тифе головные боли, температура, жар. Ни разу. Что там тиф... у него душа была больна. Ковалев или Лях спросят: «Как самочувствие, Осип Эмилевич?» Он отвечал только: «Слабею».

— Когда он заболел тифом?

— Дня четыре болел, не больше. Лежал без движения, у него, извините, из носа текло, и он уже не вытирал. Лежал с открытыми глазами, молчал, а левый глаз дергался. Да, молчал, а глаз подмигивал. Может быть, от мысли. Не мог же он доживать, ни о чем не думал.

ВОТ и дождался он в конце жизни русской няни, которая кормила его с рук.

Я пытаюсь выяснить: за что так пропал смирный, замкнутый малолетний Иван Никитич Ковалев к своему высокообразованному, неуживчивому загадочному соседу. Деревенский пчеловод, не понабавивший одной строки из тех, что были поэту дороги. Не за харчи, нет. Он получал их позже, не без стеснения. И не за новости с воли, которые поэт перерассказывал ету. За что же? Пытаюсь разгадать простую по сути истину: за что должен ближний возлюбить ближнего.

— За беспопечность. — Моисеенко грустно качает головой. — Осип Эмилевич приручил Ковалева своей беспопечностью. Иван Никитич был добрый и сочувственный. Он, знаете ли, когда все спят, он, Ковалев, украдкой крестился, я видел.

Славянская душа, как принято говорить. Христианин.

(Окончание следует).

СМЕРТЬ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Эд. ПОЛЯНСКИЙ, «Известия»

янно: «Я был у своих товарищей». Лег на бок и от всех отвернулся.

Сидит на нарах — то испуганно озирается, то успокоившись, смотрит мимо всех. Лях спрашивает о чем-нибудь, Осип Эмилевич молчит, даже отворачивается, потом минуты через три отвечает: «Что вы спросили? Извините...» Моисеенко убежден, что эти странности — от тюрьмы, угроз, допросов. Иногда трогал живот: «Курсак пропал». Это он по-детски копировал заключенных из Балхаштроя.

— Все смешалось в нем — аллюб и высокомерие, наивность и беззащитность. И за всем этим какая-то обреченность.

НУ, РАЗУМЕЕТСЯ, Мандельштам нелеп, как настоящий поэт! — говорил Волошин. — Подлинный поэт не может не быть нелеп.

Еще тогда, в Коктебеле, у Макса Волошина — в 1919 году был Мандельштаму зловещий знак из будущего. Его непрочная жизнь оказалась в руках у белоохранцев. По доносу пьяного казачьего есаула поэта вызвали в Феодосию. Он, приговорившись к аресту, уехал. И пропал на долгие часы.

Его привели к полковнику Белой армии Цыгальскому, который, как оказалось, сам пишет стихи, готовит к изданию книгу. Но не это главное. Главное, он был из тех умных, интеллигентных людей, который понимал, что к истинной поэзии его приближают не собственные строки, а чужие. Он великолепно знал стихи Осипа Мандельштама, был его неистовый поклонник.

Они сидели друг против друга, поэт читал стихи, и это были одни из самых блаженнейших часов в его жизни. Мандельштам редко встречал таких благодарных слушателей, как этот полковник.

Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. «Господи!» — сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Боже мой, как большая птица, Вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади.

Грустный полковник сидел, обхватив голову руками, а может быть, и не обхватив, просто сидел, отрешившись от всего на свете.

Несостоявшийся арестант вернулся в Коктебель в полном забвении чувств, в полузабытии. Он всегда считал, что «Поэзия есть сознание своей правоты», и теперь еще раз утвердился в этом.

Мандельштам собрался уезжать и по дороге в порт был арестован врангелевской контрразведкой, подозрительный показался гордый вид нищего. Тут же нашлась какая-то женщина, которая заявила, что арестованный пытал ее в Одессе. Мандельштам был в полной панике, едва перешагнув порог тюрьмы, спросил у офицера: «А что, у вас невинных иногда отпускают?»

Белые решили, что арестант симулирует сумасшествие. Ведь он стучал в дверь камеры и требовал: «Вы должны меня выпустить» — я не создан для тюремных...

В Коктебеле началась паника. Илья Эренбург попросил вступить всемогущего Макса Волошина, тот написал письмо начальнику врангелевской контрразведки: «Милостивый Государи! Так как вы, по должности, Вами занимаемой, не обязаны заботиться о русской поэзии и вообще не слышали имени поэта Мандельштама и его заслуг в области русской лирики, то считаю своим долгом предупредить Вас, что он занимает в русской поэ-

все зубы. Часть новых — на золотых штифтах тоже в большинстве выпали, а штифты остались и покривились.

— У него во рту — индустриальный пейзаж.

...Когда меньшевиков сменили большевики и белые уступили красным — жизнь стремительно, несправедливо понеслась под откос. Но и потом, до конца жизни он не отказался от мысли, что «Поэзия — это власть»: — Поэзию уважают только у нас — за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают.

В КОНЦЕ октября прошел первый недолгий дождь: ночь, день, ночь — и опять солнце. В начале ноября второй — с ночи и до обеда. С сопков в ло-

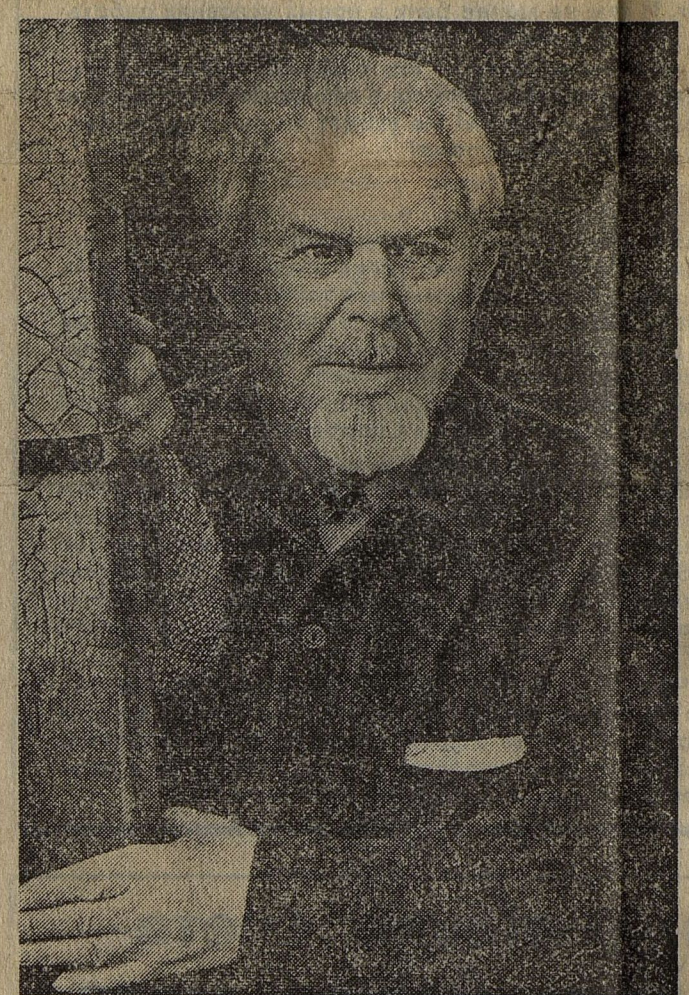
Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуй все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты Шура, напиши о Наде мне сейчас же... Родные мои. Целую вас. Ося».

Были еще безумные дни — получение писем.

— О-о, там письма читали по несколько дней, пока на память не заучат, ну что вы! От родных — что вы! Но Осип Эмилевич ни от кого ничего не получал.

«Из лагеря я получила письмо — одно-единственное — и это тоже считалось большой удачей».



Солатерник Мандельштама — Юрий Илларионович МОИСЕЕНКО. Фото П. КОСТРОМЫ.

щины, через лагерь побежали ручьи, задули пронизывающие северо-восточные ветры. Где-то 2-3 ноября в честь Октябрьской революции объявили «день письма» — заключенным разрешали написать домой. Жалобы и заявления можно было составлять тоже каждый день, а домой — раз в полгода.

После завтрака, часов около одиннадцати, явился представитель культурно-воспитательной части (КВЧ). Раздали по половине школьного тетрадного листа в линейку, карандаши — шесть штук на барак (но грифельные остроконечники были почти у каждого, Моисеенко кусочек карандаша носил в ботинке). Никаких вопросов в письме не ставил, о том, кто с вами, не писать, только о себе — о здоровье, о пребывании. Конверты не запечатывать.

— День письма — это был день терзаний. Письма отдали и все до отбоя молчали. Только на второй день, как после безумия, в себя приходили. Как будто дома каждый побывал. Я писал отцу в Белоруссию. Он так радовался раньше за меня, так гордился, что я в Москве учусь, а теперь я прошу у него что-нибудь почитать... Сала кувосок. Я в эти минуты вспоминал все. Как с Покрова тава ночью покрывается инеем. Уже в ночном не пасут лошадей, только им пасут — на луку, путают им ноги. С полем убрала солома, поля запыхали на зиму...

ведь я узнала, где находится О. М. Немедленно я выслала письмо, и она вернулась ко мне «за смертью адреса».

МНЕ трудно объяснить Моисеенко простые вещи. Почему, если поэт хороший, Советская власть не давала ему жилья и он скитался? Почему не печатал, если хороший? А раз не печатал, то на какие средства он жил и как стал знаменитым?

— Почему я такого поэта не знаю? Многих знаю, а его нет, но я ему об этом не сказал. И Ковалев, добрая душа, делал вид, что слушает его стихи. Люди в бараке менялись — уходили, уносили... Многие даже и имени его не знали: жалкий старик, и все. Его стихи хоть и неуживо продавали?

— Немножко.

— Хотя бы томик где купить, познакомиться.

— В Америке четыре тома издали. Давно уже.

— Значит, его считают большим поэтом?

— Да-а!

— Но тогда он должен быть популярным. Мы же, народ, должны знать своего поэта.

— Должны. Он будет популярным. Но не скоро.

— Плохо. Плохо. Все было распотрошено, все. Погиб как пучок. Свалился ночью в телегу, в кучу и увезли. Я никогда не думал, что будут отсечать его

2 декабря после завтрака Норонович объявил: «В лагере — карантин. Наш барак уже закрыт. Нам велено каждое утро проводить борьбу со вшами». — «Как бороться?» — «Снимайте белье и давите. Кто откажется, останется без пайки».

— И вот каждое утро раздеваемся, садимся. Я в трусах, Осип Эмилевич в белых байковых кальсонах — тощи, бледнокожий, морщинистый. Сидит, щелкает, как все. А руки потом и не мыли, воды же и поить не хватало. И белье снова то же, грязное, как корка, надеваем. Белье не стирали ни разу. Запотеешь — рубашка, как клеенка. Сидим, щелкаем, треск стоит. Назавтра опять они появляются, такие же большие, белые и страшные. Осип Эмилевич давит и сокрушается: «Тфу, придумали. Их не переловишь».

До 20 декабря Мандельштам с трудом, но еще поднимался. В изолированном от мира тифозном бараке у него оставалось два-три собеседника. Ближе друг к другу артист Смоленского драмтеатра, который выходил на сцену барака, к пещке и громко читал сцены из Бориса Годунова, «Записки сумасшедшего» Гоголя, стихи Надсона. Мандельштам вяло сползал с нар и слушал вяло, со всеми. Моисеенко долго вспоминал фамилию актера, скрасившего последние недели жизни Мандельштама.

— Забыл... Кажется, Савинов.

© — авторские права принадлежат «Известиям».